

Берестяные грамоты – бесценный источник сведений о Древней Руси и ее языке

А. А. Зализняк

Прежде всего хочу поблагодарить Демидовский фонд за оказанную мне высокую честь – присуждение Демидовской премии.

Я расскажу о том, что составляет основной предмет моих занятий в течение последних двадцати лет, – о берестяных грамотах и их значении для истории русского языка.

Первая берестяная грамота была найдена в земле Новгорода 26 июля 1951 г., и с тех пор археологические раскопки каждый год приносят все новые и новые грамоты. За истекшие годы берестяные грамоты были найдены также в Смоленске, Пскове, Старой Руссе, Твери, Торжке, Москве, Рязани, Витебске, Мстиславле, Звенигороде Галицком. Ныне их имеется в общей сложности уже около тысячи; из них более 90 % найдено в Новгороде.

Вначале несколько слов о том, что представляют собой сами берестяные грамоты.

По внешнему виду берестяная грамота, если она дошла до нас в целости, это продолговатый лист бересты, т.е. березовой коры, обычно обрезанный по краям. Размеры листа могут варьировать очень сильно, но большинство экземпляров укладывается в рамки 15–40 см в длину, 2–8 см в ширину.

К сожалению, реально лишь около четверти берестяных грамот сохраняется в целости; остальные доходят до нас с утратами – от небольших до столь значительных, что от первоначального документа остается лишь крошечный фрагмент. В части случаев утраты связаны с тем, что береста горела, растрескивалась, выкрашивалась и т. п. Но все же чаще всего грамоты бывают порваны или разрезаны рукой человека: адресат уничтожал таким способом ненужное ему более письмо, не желая, чтобы его могли прочесть посторонние.

Буквы процарапывались на бересте острием специально предназначенного для этой цели металлического или костяного инструмента – писала (стилоса). Лишь две из известных ныне берестяных грамот написаны чернилами.

подавляющее большинство берестяных грамот написаны по-древнерусски, небольшое число – по-церковнославянски. Всего несколько

грамот написано на иностранных языках: финском, латинском, греческом, немецком.

Берестяные грамоты, как правило, очень кратки. Самая большая из них насчитывает 176 слов. Но чаще всего грамоты гораздо короче: большинство полностью сохранившихся грамот не длиннее 20 слов, лишь совсем немногие превышают 50 слов.

Основная масса берестяных грамот – это частные письма. Они посвящены самым разнообразным делам текущей жизни – хозяйственным, семейным, денежным, торговым и т. д. Кроме того, имеются долговые списки, росписи денежных или натуральных поставок и т. п., различные записи, сделанные на память для себя. Но встречаются также, хотя гораздо реже, черновики официальных документов (завещаний, расписок, протоколов и т. п.), учебные записи (азбуки, перечни цифр, упражнения). В качестве редких исключений встречаются фольклорные и литературные, а также церковные тексты.

Дошедшие до нас древнерусские берестяные грамоты относятся к эпохе с XI по XV в.

Откуда мы знаем их датировку? В самом тексте берестяных грамот дат не бывает почти никогда. Основную роль в датировании грамот играет стратиграфия, т. е. датирование (средствами археологии) того слоя, в котором залегала грамота. Оно складывается из ряда элементов, главным из которых в условиях Новгорода является дендрохронология, т. е. определение даты рубки деревьев, использованных для строительства мостовых и прочих деревянных сооружений. Не вникая здесь в существо данного метода, укажем лишь, что дендрохронология, в принципе, позволяет установить эту дату с точностью до одного года. Соответственно получают дату, хотя уже и не столь точную, также грамоты и другие предметы, найденные вблизи от деревянных сооружений. В максимально благоприятных случаях (например, когда грамота лежит прямо на мостовой между двумя точно датировемыми настилами) точность такого датирования может достигать 10–15 лет.

Наряду со стратиграфией используются и другие средства датирования, прежде всего палеография – датирование по начертаниям букв. Ныне в нашем распоряжении имеется уже достаточно полный свод данных по палеографии берестяных грамот (которая далеко не всегда совпадает с палеографией пергаменных рукописей). Эти данные позволяют в большинстве случаев датировать новонайденную грамоту (если только она не слишком мала) с точностью примерно до

100 лет, при особо благоприятных обстоятельствах – до 40–60 лет.

При датировании используется также анализ графики (т. е. самого инвентаря используемых писцом букв и основных принципов их применения), языка и этикетных формул.

Наконец, исключительно важное значение для контроля датировок, полученных всеми перечисленными средствами, имеет упоминание в грамоте людей, которые отождествляются с историческими лицами, известными из летописи. В настоящее время примерно для 25 персонажей, фигурирующих в общей сложности примерно в 80 берестяных грамотах, такое отождествление можно считать надежным. Самое впечатляющее из этих достижений – обнаружение в грамотах XIV–XV вв. из Неревского раскопа представителей целых шести поколений знаменитого боярского рода Мишиничей. Кроме того, в берестяных грамотах имеется еще несколько десятков персонажей, отождествление которых с историческими лицами представляется достаточно вероятным.

Заметим, что для разных целей требуется разная степень точности при датировании. Так, для историка при датировании некоторого документа может оказаться весьма существенной даже разница в один год – если именно в этом году произошло какое-то важное политическое событие. Напротив, для лингвиста такой точности не требуется: язык изменяется очень медленно, даже самый быстрый языковой процесс требует для своего полного осуществления как минимум нескольких десятилетий (обычно же гораздо больше). Соответственно датирование с точностью до 20–50 лет, достижимое почти для всех берестяных грамот, для изучения истории языка вполне достаточно.

Непосвященному читателю понять берестяную грамоту, как правило, трудно, и в этом, конечно, нет ничего удивительного. Но часто это оказывается очень непросто и для специалиста. На длинном пути от извлечения берестяного свитка из земли до полного понимания его текста может встретиться немало разнообразных трудностей – иногда столь серьезных, что этот путь растягивается на несколько десятилетий. А некоторые грамоты не разгаданы до конца и поныне; они ждут будущих исследователей, которые найдут к ним новые ключи – может быть, на основе каких-то новых находок.

Почему же это так трудно? Ведь существует обширная древнерусская литература – до нас дошло большое количество древних рукописей на пергамене и бумаге, многие из которых насчитывают сотни листов. Если мы умеем читать эти фолианты, то что стоит прочесть

небольшое письмецо на бересте? Оказывается, однако, что весь этот массив древних текстов далеко не всегда дает нам возможность найти ответы на те вопросы, которые возникают при чтении берестяных грамот. Причин этому много. Прежде всего, берестяные грамоты очень непохожи на традиционные древнерусские памятники по жанру и по содержанию. Как уже указано, берестяные грамоты – это в основном частные письма. В отличие, скажем, от летописей, они посвящены не каким-то важным общественным событиям, а чаще всего делам, касающимся одного человека или семьи, текущим повседневным заботам. Между тем как раз эта сфера крайне слабо отражена в традиционной древнерусской письменности XI–XV вв. Поэтому в берестяных грамотах нередко встречаются слова и выражения, которые не отмечены ни в каком из ранее известных древнерусских памятников. Далее, берестяные грамоты писались совсем не так, как литературные произведения. Они были направлены на практические цели и рассчитаны на немедленное однократное прочтение. Поэтому их авторы обычно писали, как говорили, т. е. в них отражена живая повседневная речь. Соответственно в них широко представлены такие фонетические, морфологические и синтаксические особенности, которые чужды традиционным книжным памятникам. К этому добавляются специфические проблемы, связанные с тем, что берестяные грамоты предельно лаконичны и рассчитаны на адресата, знающего ситуацию, и с тем, что они часто доходят до нас лишь в виде фрагментов.

Опыт чтения и интерпретации берестяных грамот накапливался постепенно, начиная с самых первых находок. Оглядывая теперь пройденный за полвека путь, мы видим, как много первоначальных чтений было впоследствии изменено или уточнено усилиями многочисленных исследователей из разных стран. Этот процесс корректировки не завершен и теперь – он естествен для всякой молодой отрасли знания.

Покажу на примерах некоторые характерные трудности, возникающие при чтении берестяных грамот.

Эти трудности нередко начинаются на первом же шагу, а именно на этапе опознания процарапанных на бересте букв. Писать писалом на бересте труднее, чем пером на бумаге. Нажимать приходится сильнее, и писало труднее остановить в строго определенной точке. Оно довольно часто не доходит до нужной точки или проскакивает ее. Формы букв получаются менее устойчивыми, похожие буквы – скажем, Т и Г, Б и В, Г и П, Ъ и Ь – здесь иногда трудно различить. Кроме того, на бересте горизонтальные линии часто бывают хуже видны, чем

вертикальные: вертикальный штрих идет поперек волокон бересты и надрывает их, тогда как горизонтальный штрих движется вдоль волокон и нередко всего лишь их раздвигает. По этой причине довольно легко спутать, например, Е и С или В и К, где различие целиком определяется горизонтальными штрихами. Добавим к этому, что описанные трудности многократно возрастают, если сохранность бересты плохая или если от первоначального документа до нас дошел лишь фрагмент и от каких-то букв осталась только часть элементов.

Затруднения такого рода могут влиять и на понимание текста. В грамоте № 69 (конец XIII в.) конечная часть в первоначальном издании была прочтена так: *ты до Углича, и ту плкъ дружина* (с переводом: ты [посылай] до Углича, и там полк-дружина). Присутствие в грамоте слова `полк` вело к чисто военному ее истолкованию. Было странным, правда, написание *плкъ* вместо обычного *полкъ*. Лишь в значительно более позднее время, когда уже накопился большой опыт работы с берестяными документами, удалось установить, что за букву *л* здесь была ошибочно принята буква *а*: на бересте в этом месте темное пятно, и линию, отличающую *а* от *л*, очень трудно заметить. Таким образом, в тексте стоит не *плкъ*, а *пакъ* (частица: `как раз`, `вог`), т. е. смысл здесь: `ты [посылай] до Углича, и как раз там дружина`.

В грамоте № 8 (рубеж XII и XIII вв.) конечная часть в первоначальном издании была прочтена так: *ожалочьши коровъ, а едеш по коровъ, а възи ... гривнь*. Перевода не было дано вообще. Самым загадочным здесь был отрезок *ожалочьши*. Разными интерпретаторами было предложено несколько различных гадательных толкований этого места (причем все они исходили из того, что автор допустил те или иные буквенные ошибки): `что лучше, чем коровы`, `если тебе попадетя корова`, `о Жалудковой корове` и др.; при всех этих версиях, однако, смысл грамоты оставался темным. Лишь через несколько десятилетий после первой публикации грамоты удалось установить, что в этом тексте были неправильно опознаны две буквы: после *ож* стоит не *а*, а *ь* (верхняя часть которого пропала из-за небольшого разрыва в бересте); далее идет не *л*, а *х* (от которого по той же причине сохранилась лишь нижняя половина). Таким образом, на месте загадочного *ожалочьши* в действительности стоит *ожь хочьши* `если хочешь` (= *оже хочеши*, с заменой *е* на *ь*, которой мы еще коснемся ниже). Полуоборванные буквы перед конечным *гривнь* к этому времени уже были прочитаны (как *три*). Смысл фразы в целом оказался очень ясным и простым: `если хочешь корову и едешь за коровой, то вези три гривны`.

Далее, немалая трудность связана с тем, что наши предки писали

без пробелов между словами. Так писались не только берестяные грамоты, но и все прочие древнерусские памятники; однако в текстах традиционного характера это меньше затрудняет чтение, так как здесь очень помогает контекст и в целом ясен общий характер содержания. Между тем в берестяных грамотах, особенно во фрагментах, нередко бывает так, что контекст слишком мал, а общий характер содержания недостаточно ясен. Проблема разделения текста на слова в этих случаях может оказаться весьма непростой.

Конец грамоты № 68 (2-я пол. XIII в.) выглядит так: АЦИВОСОПРАШЕЕТЪМЕСТИЛОВЬСЫНОЦОГОМАЛАГОДАИТУАСТОЮ. В первоначальном издании было предложено следующее разделение на слова: *аци воспрашает Местиловь сыно: цого мала года, и ту а стою* (с переводом: `если спросит Местиллов сын: «Почему мал срок?», – я на этом настаиваю`). Здесь непонятно, однако, почему словосочетание *малъ годъ* `малый срок` стоит в родительном падеже, и весьма странен смысл всего пассажа в целом. Поиски более удачного решения привели (правда, лишь через тридцать лет!) к иному разделению текста на слова: *аци воспрашаетъ Местиловь сыно цого малаго, даи – ту а стою* `если запросит Местиллов сын чего-нибудь небольшого, дай – я за этим стою` (т. е. за таким твоим действием заранее стоит и мое согласие).

В грамоте № 358 (письме посадника Онцифора Лукинича к матери; сер. XIV в.) после вполне понятного начала, означающего: `Поклон госпоже матери. Я послал тебе с посадничьим Мануйлом 20 бел`, – следует менее ясный текст: АТЫНЕСТЕРЕПРОЧИЦАПРИШЛИКОМНИГРАМОТУСКИМЪБУДЕШЪПОСЛАЛЪ. В первоначальном издании он разделен на слова так: *а ты Нестере Прочица къ пришли ко мни, грамоту с кимъ будешь послалъ*. Слова *Нестере Прочица* истолкованы как `Нестера Прокофьевича`, слово *къ* перед *пришли* – просто как лишнее (появившееся по описке). Предполагается, таким образом, что Онцифор Лукинич просит мать прислать к нему Нестера Прокофьевича. Однако у такого решения имеется сразу несколько серьезных недостатков: 1) *будешь послалъ* (а не *послала*) указывает на то, что автор обращается к мужчине, а не к женщине; 2) в тексте стоит не *Нестера* (как ожидалось бы), а *Нестере* (окончание *-е* может принадлежать, в частности, звательной форме); 3) версия о «лишнем» *къ*, как и всякая версия о прямой ошибке писавшего, сомнительна. Все три недостатка оказались устранены, когда было найдено другое словоделение: *а ты, Нестере, про чицакъ пришли ко мни грамоту, с кимъ будешь послалъ* `а ты, Нестер, про шишак пришли ко мне грамоту,

с кем [его] пошлешь` (*чицакъ* [= *чичакъ*] – то же, что *шишакъ*, т. е. металлический шлем с острием наверху). Оказывается, Онцифор Лукинич после фразы, адресованной матери, обращается уже к другому лицу – к управляющему Нестеру, т. е. письмо адресовано фактически двум людям.

Следующая проблема, с которой сталкивается всякий, кто пытается прочесть берестяную грамоту, – написания, отклоняющиеся от тех, которые обычны для традиционных древнерусских памятников. Например, в уже рассматривавшейся грамоте № 8 написано *ожь хочъши* вместо *оже хочеши*, *възи* вместо *вези*, в № 68 *сыно* вместо *сынъ* и т. п. Таких примеров можно привести чрезвычайно много.

В чем же здесь дело? Самое простое предположение состоит в том, что люди, писавшие берестяные письма, были не очень грамотны и поэтому постоянно путали буквы. Именно такое впечатление и сложилось у большинства исследователей после открытия первых берестяных грамот. В течение двух-трех десятилетий эта точка зрения была почти всеобщей. В работах этого периода мы в изобилии встречаем такие оценки, как «неумелость», «недостаточная грамотность», «малограмотность».

Однако по мере накопления все большего числа новых грамот все яснее обнаруживались факты, противоречащие этой точке зрения. Так, если бы перед нами были простые ошибки по малограмотности, то следовало бы ожидать буквенных смещений самого разного рода, скажем, *а – с о*, *е – с и*, *б – с п*, *з – с с* и т. д. В действительности же абсолютное большинство наблюдаемых буквенных смещений приходится лишь на следующие пары: 1) *ь* и *о*; 2) *ь* и *е*; 3) *ѣ* и *е*; 4) *ц* и *ч*. Поясним, что буквами *ь* (*ер*) и *ь* (*ерь*) в древности обозначались особые, очень краткие гласные, несколько похожие соответственно на [ы] и [и], которые позднее исчезли; буквой *ѣ* (*ять*) обозначалась особая гласная фонема, которая, вероятно, звучала как [иэ] или как звук, средний между [и] и [э].

Можно указать очень много берестяных грамот, где наблюдаются эти четыре типа смещения (или хотя бы некоторые из них) и нет ни единого отклонения от нормы в употреблении всех остальных букв. Более того, в части таких грамот аккуратно соблюдены некоторые тонкие орфографические правила, требующие отличной выучки, например, правила распределения букв *о* и *ѡ*, или *и* и *і*, или *оу* и *у*, или *ѡ* и *ѡ*.

Все это указывает на то, что перед нами отнюдь не ошибки по малограмотности, а результат применения несколько иных, чем в тради-

ционных памятниках, правил употребления букв. Эти особые правила можно назвать правилами бытового письма. Они существовали в нескольких вариантах. Например, по одному из вариантов таких правил вместо двух букв книжного письма – *ѣ* и *о* – употреблялась всего одна – *о*. По другому варианту употреблялись обе, но безразлично, т. е. как чистые графические дублиеты. Аналогичные варианты правил имелись и для остальных трех пар, указанных выше. Поскольку для бытового письма не существовало какой-либо общепринятой регламентации, одни люди усваивали один, другие – другой вариант бытового письма в зависимости от того, к каким учителям они попадали.

Отличие от смещения на письме букв *ц* и *ч*, которое определялось совпадением соответствующих фонем (так называемым цоканьем), смещение *ѣ* – *о*, *ѣ* – *е*, а также *ѣ* – *е* носило чисто графический характер. Например, слова *боле* `больше` и *боль* `боль`, `болезнь` всегда произносились по-разному. Одинаковое написание этих слов, возможное в бытовом письме, было таким же явлением, как, например, одинаковое написание *bow* для [boʊ] `лук`, `смычок` и [baʊ] `поклон` в английской графике или *теста* для родительного падежа от *тесто* (с начальным мягким [т']) и от *тест* (с начальным твердым [т]) в современной русской графике.

Конечно, тексты, написанные по бытовой системе, понимать труднее, чем написанные по-книжному: необходимо каждый раз перебирать большое число возможных чтений, чтобы найти правильное. Например, написание *станеть*, в принципе, может быть истолковано и как *станеть* `станет`, и как *станете*, и как *станьте*; написание *шело* – и как *шель*, и как *шьло*; написание *зачть* – и как *зачеть*, и как *за чьто*. Но важно то, что мы имеем здесь дело не с произволом, как казалось вначале, а с правилами. Знание этих правил позволяет четко отграничить возможные варианты прочтения от невозможных и тем самым удерживает нас от вольных фантазий. Например, написание *станеть*, хотя оно и допускает, как мы видели, целый ряд истолкований, все же не может быть истолковано, скажем, как *стонете* или как *стоните*, поскольку ни *а* – *о*, ни *е* – *и* в бытовом письме не смешиваются.

Знание этих правил позволяет также увидеть, что авторы бережных писем в подавляющем большинстве случаев были вполне грамотны и обычно писали свои письма внимательно и аккуратно. Поэтому мы не должны сразу же подозревать их в ошибках и описках, как только текст становится малопонятен, – необходимо упорно искать такое решение, которое не предполагает прямых ошибок писавшего. Это

не значит, конечно, что у авторов берестяных грамот вообще не встречается ошибок или описок. Они встречаются, но в целом не чаще, чем в обычных рукописях, – вопреки тому впечатлению, которое возникает в первую минуту.

К сожалению, гораздо чаще, чем целые грамоты, до нас доходят лишь фрагменты – от сравнительно больших до крошечных. И, конечно, анализ фрагментов намного труднее, чем анализ целых грамот; здесь почти никогда нельзя достичь той же степени надежности и точности понимания, что для целых документов.

Но в силу всех описанных выше трудностей иногда и полностью сохранившаяся берестяная грамота оказывается для исследователей форменной головомолкой. Разберу один такой пример подробнее, чтобы дать более ясное представление о том, как строится работа по прочтению трудного текста.

В богатом грамотами 1985 г. в числе прочих была найдена грамота № 663 (2-я пол. XII в.). Это, несомненно, целый документ – аккуратно обрезанный со всех сторон лист, на котором уверенным, безупречно четким почерком написаны две с половиной строки текста, а именно: МИЛОКЕЖЕНЕГЕБУДИЩА ЗАПЛАТИЛИ ПОЛО ГРИВЕНЕ КОРОСТО КИНЕРА ЛАНЕВИДЕКА СИА СМОРОЧЬ ВАРАЛА ЗАПЛАТИЛА ПЛОДЕВАТЬ КЪНЕ

Сразу же после первых мгновений радостного волнения, сопровождающего чтение каждой новой грамоты, особенно целой и невредимой, участников этого чтения охватило тяжкое недоумение. Что это? Ведь почти ничего не понятно! Да по-русски ли это вообще написано?

Видимо, все же по-русски, ведь читаются же отрезки *заплатили поло гривене* `заплатили полгривны` и *заплатила пло девять кѹне* `заплатила восемь с половиной кун` (буквально: `пол девятой куны`); *пло* – видимо, сокращение от *поло*, *девять* – вместо *девять* `девятой`. Но все остальное загадочно! Конечно, можно при желании усмотреть в тексте «русскообразную» фразу *коросто кинерала Невидека сия сморочь варала*, напоминающую что-то вроде *жестoko генерала Ненашека сия сволочь карала*. Но к нашей цели она нас, увы, не продвигает.

Коль скоро немедленно разгадать содержание грамоты не удастся, приходится перейти к методическому исследованию всех деталей. Понятные нам отрезки: *заплатили поло гривене* и *заплатила п(о)ло девять кѹне* – расположены соответственно в первой и второй половине текста. Можно предположить, что текст грамоты складывается из двух частей, внутренняя организация которых более или менее

сходна: в первой части речь идет об уплате кем-то полугривны, во второй – об уплате кем-то другим восьми с половиной кун.

В обеих частях присутствует отрезок *рала*. Это могла бы быть форма родительного падежа от известного древнерусского слова *рало* `плуг`, `соха`. Но по смыслу здесь ожидалось бы слово совсем другого семантического класса – скажем, `налог` или `штраф`, ср. *рала заплатила п(о)ло девать кѣне*. Очень хорошо подошло бы по смыслу, например, слово *поралье* (или *поральное*) `подать с плуга (сохи)`. Не могло ли *рало* употребляться в том же значении, что *поралье*, *поральное*? Словари не отмечают у слова *рало* такого значения. Однако мы знаем, что многие другие подати могли называться тем же словом, что и объект обложения (или основной предмет, с которым связана натуральная повинность). Например, слова *кормь*, *вѣсь*, *закось*, *платно* могли выступать как синонимы слов *кормное*, *вѣсчее*, *закосное*, *платенное* (названия податей). Особенно похоже на наш случай употребление слова *ногата* в том же значении, что *поногатное* (вид подати). Эти примеры показывают, что значение `подать с плуга` у слова *рало* вполне соответствует древнерусским семантическим правилам.

Становится ясно, что в грамоте № 663 речь идет об уплате поралья. Сообщается о двух таких выплатах. Естественно предположить, что в таком документе должны быть указаны также и имена плативших. В первой части, в соответствии с формой *заплатили* (множ. число муж. рода), должно стоять несколько имен или какое-то обобщающее обозначение заплативших. Во второй части содержится форма *заплатила* – на первый взгляд, единств. число жен. рода; если это так, мы должны искать здесь одно женское имя. Однако такое решение было бы несколько поспешным: в древнерусском языке окончание *-а* было представлено не только в единств. числе жен. рода, но также и в двойственном числе муж. рода. Двойственное число – исчезающая ныне форма, указывавшая, что предметов не один и не много, а ровно два; например, *стола* означало `два стола`, *охотника пришьла* – `два охотника пришли`. Таким образом, в нашем случае *заплатила* – это либо `(она) заплатила`, либо `(они двое) заплатили`, т. е. надо искать в тексте либо одно женское имя, либо два мужских.

Здесь важно обратить внимание на суммы выплаченного поралья – полгривны и 8 1/2 кун. По данным Русской Правды, гривна равнялась 25 кунам. Полгривны (12 1/2 кун) относятся к 8 1/2 кунам почти так же, как 3 : 2. Поскольку норма поралья должна была быть постоянной, в нашем случае первую сумму очевидно, платили три человека, а вторую – два (если бы вторую сумму платил один человек, то первая

сумма была бы необъяснимой). Это значит, что *заплатила* – это двойственное число муж. рода (а не единств. число жен. рода).

С учетом этих заключений имена плативших уже удастся отыскать. В первом случае это *Милоке* (= *Мильке*), *Уенеге* (= *Уенѣге*) и *Будиша*, во втором *Невиде* и *Касиѧ*. Формы на *-е* содержат здесь особое древненовгородское окончание именительного падежа единств. числа муж. рода, которое нам предстоит еще специально обсудить ниже. Почти все имена здесь – дохристианские: *Милко* (это имя бытует у южных славян и поныне), *Уенег* (буквально: `пользующийся любовью своего дяди`; *уи* – старое название дяди по матери), *Будиша* (уменьшительное от *Будимир*), *Невид* (очень древнее имя с магическим значением `невидимка`). Последнее имя – христианское, *Касьян*; вероятно, оно здесь сокращено (ср. *Стѣна* от *Степан*).

Теперь остались неразгаданными только два отрезка: *коростокине* в первой части и *сморочѡва* во второй. Поскольку во всем остальном первая и вторая части грамоты построены одинаково, можно предполагать, что и эти два отрезка в каком-то смысле однотипны. Мы уже видели, что в грамоте встречаются буквенные замены, характерные для бытового письма: например, вместо *поль*, *Мильке* написано *поло*, *Милоке*, вместо *гривнѣ* – *гривене*, вместо *девятѣ* – *девятъ*. Следовательно, и в отрезках *коростокине*, *сморочѡва* какие-то из букв могут быть результатами таких же замен. Перебирая различные возможности, обнаруживаем, что в *коростокине* конечную часть можно представить как *-ин-ѣ*, а в *сморочѡва* – как *-ев-а*. Суффиксы *-ин-* и *-ов-* (*-ев-*) характерны для притяжательных прилагательных, ср. современные *дяд-ин*, *отц-ов*, *княз-ев* и в особенности фамилии, скажем, *Кропотк-ин*, *Нос-ов*, *Звер-ев*. Окончания *-ѣ* и *-а* – именно те, которые следует ожидать, исходя из числа плативших: *-ѣ* – это множественное число муж. рода (диалектное древненовгородское окончание); *-а*, как мы уже видели, – двойственное число муж. рода. Первые трое плативших были *Коростокине* (= *Коростѣкин-ѣ*) – от прозвища *Коростѣка*, вторые двое – *Сморочѡва* (= *Смърѣчев-а*) – от прозвища *Смърѣчь*, *Сморчь* `облако`, `смерч`, также `сморчок`. Конечно, это не фамилии: фамилий в современном смысле в XII в. еще не было. Это просто отчества: Милко, Уенег и Будиша были сыновьями Коростки, Невид и Касья (или Касьян) – сыновьями Сморча.

Наконец-то нам удалось разобраться со всеми элементами этого головоломного текста. Перепишем его заново, разделив на слова и заменив бытовые написания более понятными нам книжными: *Мильке*, *Уенѣге*, *Будиша* *заплатили* *поль* *гривнѣ* *Коростѣкинѣ* *рала*. *Невиде*, *Касиѧ* *Смърѣчева* *рала* *заплатила* *поль* *девятѣ* *кунѣ*.

Переведем этот текст: `Милко, Уенег и Будиша, Коросткины [дети], заплалили полгривны поралья (подати с плуга). Невид и Касьян, Сморчевы [дети], поралья заплалили восемь с половиной кун`.

Конечно, наш рассказ об этой грамоте, хоть он и довольно пространный, все же намного короче, чем тот поиск решения, который происходил в действительности: ведь здесь опущены почти все неверные предположения и тупиковые пути, которые приходилось отвергать по ходу этого поиска.

До сих пор речь шла о том, как читают и истолковывают берестяные грамоты. Обратимся теперь к самому интересному для лингвистов вопросу: что нового мы можем узнать из берестяных грамот о древнерусском языке?

В Древней Руси в разных сферах жизни использовалось несколько различных форм славянской речи. Языком церковной литературы (к которой относится большинство дошедших до нас древних памятников) был церковнославянский. На собственно древнерусском языке, который был живым языком общения, писались лишь деловые и юридические документы. Язык летописей и художественной литературы обычно совмещал церковнославянские и собственно русские элементы; у разных авторов (и редакторов) соотношение этих двух компонентов могло существенно различаться.

Живой язык, звучавший на обширной территории Древнерусского государства, не был полностью единым. Некоторые элементы диалектных различий были известны давно; например, было известно, что на севере с очень раннего времени существовало цоканье (смешение *ц* и *ч*), тогда как на юге *ц* и *ч* последовательно различались. Предполагалось, однако, что в X–XI вв. количество таких расхождений было ничтожно. Почти все языковые различия (как между языками, так и между диалектами), наблюдаемые ныне на восточнославянской территории, традиционно расценивались как поздние, возникшие не ранее эпохи распада Киевской Руси (а нередко и много позднее). Этой точке зрения весьма способствовало почти полное отсутствие текстов XI–XII вв., написанных на каких-либо местных диалектах. В частности, о древненовгородском диалекте можно было судить практически лишь на основании ошибочных с точки зрения обычных норм написаний, изредка проскальзывающих в новгородских книжных памятниках этой эпохи.

Открытие берестяных грамот создало совершенно новую ситуацию. Оказалось, что большинство этих документов написано непосредственно

на местном диалекте. При этом в некоторых из них писавшие все же использовали, хотя бы изредка, «стандартные» (т. е. обычные для традиционных памятников) древнерусские формы, в других же представлен совершенно чистый диалект (т. е. их авторы не вносили при записи никаких поправок в собственную живую речь).

В отличие от большинства других памятников древнего периода, берестяные грамоты ни с чего не списывались. Поэтому здесь возможны непосредственные наблюдения над их языком, не осложненные предположениями о том, какие из наблюдаемых особенностей принадлежат писцу, а какие перенесены из оригинала.

Чрезвычайно важно то, что почти половина ныне известных берестяных грамот относится к XI–XII вв. Для сравнения укажем, что до открытия берестяных грамот из подлинных документов этого периода были известны, если не считать нескольких очень коротких надписей, только два документа, написанных по-русски, а не по-церковнославянски: Мстиславова грамота (ок. 1130 г., 156 слов) и Варламова грамота (1192–1210 гг., 129 слов).

Таким образом, древненовгородский диалект раннего периода (XI–нач. XIII в.), отраженный берестяными грамотами, оказывается лучше документирован подлинниками даже, чем обычный древнерусский язык, так как почти все созданные на этом языке тексты XI–XII вв. дошли до нас лишь в поздних списках. Тем самым древненовгородский диалект может рассматриваться как вторая по времени зафиксированная значительным корпусом документов форма славянской речи после старославянского языка. Если же учесть, что старославянский язык представлен переводными памятниками церковного характера, тогда как берестяные грамоты отражают, напротив, естественную повседневную речь, лишенную литературной обработки, то древненовгородский диалект предстает как самая древняя из известных нам форм записанной живой славянской речи.

Что же интересного удалось узнать лингвистам о древненовгородском диалекте после того, как в их руки один за другим стали поступать написанные на нем документы невиданного дотоле типа – берестяные грамоты?

Следует признать, что первая реакция историков русского языка была не такой, как нам теперь хотелось бы ее вообразить. Энтузиазма по поводу новых лингвистических данных не было. Уже существующее здание исторической грамматики русского языка представлялось чрезвычайно стройным и законченным, и русисты оказались не готовы к мысли о том, что крошечные записочки на бересте могут что-либо

важное к нему добавить, не говоря уже о кощунственной мысли о том, чтобы они могли что-нибудь в этом здании поколебать.

В силу этой презумпции те места в берестяных грамотах, где проявлялись ранее неизвестные особенности древненовгородского диалекта, долгое время оставались непонятыми или расценивались попросту как ошибки.

Пересмотр этой позиции произошел лишь в 80-е гг. – в связи с тем, что были выявлены принципы бытового письма, и тем самым обнаружилась ошибочность тезиса о том, что берестяные документы писались безграмотными людьми.

Значительную роль в этом сыграло новое прочтение одной из самых древних берестяных грамот – № 247 (XI в., вероятно, 2-я четверть). Этот исключительно важный документ, от которого, к сожалению, до нас дошла лишь средняя часть длиной в две полные и две неполные строки, был найден еще в 1956 г. Вот те две его строки, которые сохранились полностью (в квадратных скобках даны ненадежно читаемые буквы):

АЗАМЪКЕКЪЛЕАДВЪРИКЪЛЪАГОСПОДАРЪВЪНЕТЪЖЪНЕДЪЕ
 АПРОДАИКЛЕВЕТЪНИКАТОГОАОУСЕГОСМЪРЪДАВЪЗ[АТИ]
 ЕПОУ

В первоначальном издании грамоты начало второй строки было разделено на слова так: *а замъке кѣлеа, двѣри кѣлѣа*. Перевод носил обрывочный характер: «... замок кельи, двери кельи, ее хозяин бездельник. Продай клеветника того. А у этого смерда воз...» Он вполне соответствовал распространенному в то время мнению о том, что авторы берестяных грамот писали обрывки фраз, плохо связанные друг с другом.

При таком прочтении необходимо признать, что автор грамоты допустил целый ряд ошибок разного рода, причем почти все они сконцентрированы в отрезке *а замъке кѣлеа, двѣри кѣлѣа*. Во-первых, за рамками данного отрезка автор пишет все слова в полном соответствии с книжной орфографией, без единой ошибки; между тем записи *кѣлеа, кѣлѣа* (почему-то различающиеся между собой) обе весьма далеки от *кельѣ* (или *келиѣ*) – правильного вида древнерусского слова *келья* (*келия*) в родительном падеже единств. числа. Во-вторых, в отрезке *а замъке кѣлеа, двѣри кѣлѣа* нет сказуемого, т. е. это не предложение: про замок кельи и двери кельи здесь ничего не сообщается; между тем этот отрезок не может быть ни концом предыдущего предложения (поскольку он начинается с союза *а*), ни началом следующего (поскольку дальше уже идет другое сообщение – про хозяина).

В-третьих, в данном тексте отчетливо проступает характерная синтаксическая особенность живой древнерусской речи, состоящая в том, что всякое новое предложение начинается с союза *а*: *а замъке ...*, *а продаи ...*, *а оу сего смърьда ...*; но почему-то нет союза *а* перед словами *двьри* и *господарь* (в отрезке *а замъке кѣлеа, двьри кѣлѣа, господарь въ нетлѣжѣ*). Наконец, в-четвертых, весьма темен смысл всего пассажа.

Как показывает весь опыт работы над древними текстами, такая концентрация нарушений различного рода в одном месте почти всегда означает, что в интерпретацию этого места вкралась какая-то ошибка. В самом деле, поиск ошибки привел здесь к решению, при котором первые три из указанных трудностей снимаются немедленно, а четвертая несколько позже. Решение это состоит в том, чтобы изменить словоделение, а именно отделить *а* от *кѣле* и от *кѣлѣ*, т. е. читать: *а замъке кѣле*, *а двьри кѣлѣ*, *а господарь* (и т. д.). Тем самым мы получаем как раз те два союза *а*, которых во фразе не доставало, и освобождаемся от всех загадок, связанных со словом *келья*: этого слова в грамоте просто нет. Вместо этого имеются пока еще непонятные отрезки *кѣле* и *кѣлѣ*, но из структуры фраз уже ясно, что они представляют собой не что иное, как сказуемые соответственно при *замъке* `замок` и *двьри* `двери`. В самом деле, таинственные *кѣле* и *кѣлѣ* явно согласованы с этими существительными. Ведь *замъке* – это именительный падеж единств. числа муж. рода, с тем самым древненовгородским окончанием *-е*, о котором уже шла речь в связи с грамотой № 663; то же самое окончание мы видим и в *кѣл-е*. С другой стороны, *двьри* – именительный падеж множ. числа жен. рода; в древненовгородском диалекте прилагательные имели в этой форме окончание *-ѣ* – его мы и видим в *кѣл-ѣ*.

Но что же все-таки значат фразы *а замъке кѣле*, *а двьри кѣлѣ*? Согласованными сказуемыми могут быть либо глаголы (в данном случае – в прошедшем времени), либо прилагательные. Глагола *кѣти* не существует. Остается только прилагательное *кѣлыи*. Его тоже нет ни в каких словарях. Но историки русского языка знают, что слово *цельи* (древнерусское *цѣлыи*) происходит из не засвидетельствованной письменно, но реконструируемой по законам сравнительно-исторического языкознания формы *кѣлыи*! Неужели в нашем тексте сохранился древнейший фонетический облик этого слова? Подходит ли оно к тексту по смыслу? Оказывается, подходит очень хорошо: `а замок цел, а двери целы`.

Более того, вся грамота приобретает после этого (с учетом некоторых дополнительных уточнений текста, которые здесь можно не обсуждать) отчетливый смысл. Становится ясно, что перед нами фрагмент

сообщения о некоем юридическом конфликте, посланного какому-то высокому представителю новгородской администрации. Некто был обвинен в краже со взломом. Однако сообщение о взломе оказалось ложным, и автор грамоты требует наказания для обвинителя (по-древнерусски – *клеветника*). С участвующего в деле смерда (вероятно, это ложно обвиненный) должна быть взыскана определенная сумма в пользу епископа (за судопроизводство). Изучаемый фрагмент можно представить теперь так: ... *а замьке кѣле, а двѣри кѣлѣ, а господарь въ не тѣжѣ не дѣе. А продаи клеветника того. А оу сего смърьда въз[ати] ѣпоу* ... Перевод: `... а замок цел и двери целы, и хозяин по этому поводу иска не предъявляет. Так что накажи штрафом того обвинителя. А с этого смерда епископ должен получить [такую-то сумму]`.

Специально отметим, что в этой грамоте при ее нынешней интерпретации нет ни одной орфографической, морфологической или синтаксической ошибки.

Вернемся же к нашим *кѣле, кѣлѣ*. Обнаружение этих форм в древненовгородском тексте означает нечто гораздо большее, чем просто улучшение интерпретации одной грамоты, пусть даже и очень древней.

Научная проблема здесь такова. В древнейшей (дописьменной) истории славянских языков важное место занимают так называемые палатализации. Палатализация заднеязычных согласных (*к, г, х*) – это превращение их в шипящие (*ч, ж, ш*) или свистящие (*ц, з, с*) в позиции перед передними гласными (т. е. *и, е* и близкими к ним) или после них. Наибольшее значение имели так называемая первая и вторая палатализации (которые происходили в позиции перед такими гласными). Первая палатализация давала шипящие; отсюда, например, русские чередования типа *рука – вручить, друг – дружить, сухой – сушить*. Вторая палатализация давала свистящие. Она произошла позднее первой, когда в языке возникли новые передние гласные, а именно *ѣ* и *и*, развившиеся из дифтонга **oi*; отсюда, например, старославянские чередования типа *рѣка – на рѣцѣ, нога – на нозѣ, соха – на сосѣ* или украинские типа *рука – на руці, нога – на нозі, соха – на сосі*, а также, например, современные русские *целый, целить, серый* из существовавших некогда *кѣлыи, кѣдити, хѣрыи*.

Согласно общепринятой (до недавнего времени) в славистике концепции, обе эти палатализации произошли еще в праславянском языке, т. е. до его разделения на отдельные славянские языки. Коль скоро это так, то результаты этих двух палатализаций должны присутствовать во всех без исключения славянских языках и диалектах.

Здесь необходима, однако, одна важная оговорка. В современном

русском языке, в отличие, например, от украинского, в склонении существительных нет следов второй палатализации; ср. *рука* – *на руке*, *нога* – *на ноге*, *соха* – *на сохе*. Значит ли это, что в истории, точнее, в предыстории русского языка не было второй палатализации? Нет, не значит, ведь в русском языке все же есть слова *целый*, *цедить*, *серый* и т. п., где эффект второй палатализации налицо. А чередования в склонении (на стыке основы и окончания) могли быть в ходе истории устранены в силу так называемого аналогического выравнивания основы. В данном случае такое выравнивание должно было состоять в том, что, например, прежнее *руц-ѣ* заменялось на *рук-ѣ*, т. е. в этой форме на место основы *руц-* по аналогии с другими формами того же слова – *рук-а*, *рук-у*, *рук-ою* и т. д. – подставлялась основа *рук-*. Заметим, что такое развитие означает своего рода «исторический зигзаг»: исконное *рук-ѣ* в свое время фонетическим путем превратилось в *руц-ѣ*, последнее же в дальнейшем в силу аналогии оказалось как бы «возвращено» к виду *рук-ѣ*.

А как обстоит дело в древненовгородском диалекте? Материал берестяных грамот ясно показывает, что на стыке основы и окончания эффект второй палатализации здесь отсутствует. Даже в самых древних берестяных грамотах регулярно выступают формы без чередования, например, *на Нѣжъкѣ*, *на Лоугѣ* в грамоте № 526 (середина XI в.), *на отроке* (= *на отрокѣ*) в грамоте № 241 (начало XII в.), не говоря уже о более поздних. Единичные формы с чередованием встречаются только в составе церковных или официальных формул, которые, конечно, просто заимствованы из церковнославянского, например: *въ Бозѣ*, *на Бозѣ*, *Господи помози*. Таким образом, в этом отношении в древненовгородском диалекте уже в XI в. была такая же ситуация, как в современном русском языке. Но вопрос о том, как сложилась такая ситуация, этим еще не предрешен: в принципе, не исключено и аналогическое выравнивание (хотя и несколько удивительно, что это выравнивание успело здесь полностью осуществиться так рано – уже в XI в.).

И вот вдруг на этом фоне появляются формы *кѣле*, *кѣлѣ*. Их кардинальное отличие от примеров типа *на Нѣжъкѣ* состоит в том, что *к* (вместо ожидаемого *ц*) здесь находится не на стыке с окончанием, а внутри корня. Внутри корня аналогическое выравнивание невозможно: ведь *руц-ѣ* может «вернуться» к прежнему виду *рук-ѣ* только потому, что оно уподобляется формам *рук-а*, *рук-у*, *рук-ою* и т. д., где *к* сохранилось; если же корень *кѣл-* превратился в *цѣл-*, то никаких форм с *к* здесь уже больше не осталось, т. е. нет никакой движущей силы, которая могла бы «вернуть» корень к виду *кѣл-*. Это значит, что *кѣл-*,

засвидетельствованное грамотой № 247, не может быть результатом «исторического зигзага»: оно может быть только прямым продолжением древнейшего состояния. Иначе говоря, древненовгородское *кѣл*- не испытало второй палатализации.

Известно, однако, что фонетические изменения носят всеобщий, а не избирательный характер. Если второй палатализации не было в корне *кѣл*-, это значит, что ее не было в древненовгородском диалекте вообще. Вот какой поразительный вывод вытекает из анализа одной строчки в берестяной грамоте.

Разумеется, это означает также, что на стыке основы и окончания в древненовгородском диалекте тоже не было никакого «исторического зигзага»: формы типа *на отрокѣ* просто никогда не имели здесь вида *на отроуѣ*.

Здесь следует сказать, что открытие форм *кѣле*, *кѣлѣ* в берестяной грамоте № 247 было не первым свидетельством отсутствия второй палатализации в новгородской зоне. Уже в 1960-е гг. выдающийся диалектолог С. М. Глушкина, опираясь на диалектные данные, выдвинула гипотезу о том, что в северо-западных русских говорах процесса второй палатализации не было. Эта гипотеза была основана в первую очередь на том, что в данной зоне отмечены корни *кев-* (*кѣвка* `цевка`, `шпулька`), *кед-* (*кедѣтъ* `цедить`, *кеж* `цеж`, `процеженный настой`), *кеп-* (*кеп* `цеп`, *кѣпы*, *кепы* `нитяные петли в ткацком станке`), где древнее *кѣ* сохранилось без перехода в *цѣ*. К сожалению, гипотеза С. М. Глушкиной не получила достаточного признания у славистов: она слишком резко противоречила традиционным представлениям. Противники этой гипотезы пытались объяснить *к* в *кев-*, *кед-*, *кеп-* не как архаизм, а как побочный результат некоторых диалектных фонетических процессов относительно позднего времени (XV–XVIII вв.).

Открытие форм *кѣле*, *кѣлѣ* в подлинном документе XI в. оказалось в этом споре решающим: стало ясно, что корни *кѣв-*, *кѣд-*, *кѣп-* должны были, как и корень *кѣл-*, иметь именно такой вид также и в XI в. Тем самым гипотеза С. М. Глушкиной получила решающее подтверждение.

Заметим, что вслед за *кѣле* обнаружались также некоторые примеры аналогичного рода с другими корнями. Так, в берестяной грамоте № 130 было выявлено слово *хѣръ*, означающее серое небеленое сукно, сермягу (с корнем *хѣр-* `серый`); среди названий деревень древней Новгородской земли нашлись, например, *Хѣрово* (с тем же корнем), *Хѣдово* (с корнем *хѣд-* `седой`). Был обнаружен также (в берестяной грамоте № 8 из Старой Руссы, в древних названиях деревень и в современных говорах) корень *звѣзд-* `звезда` – тоже без перехода

z в з, между тем как в других восточнославянских, а также в южнославянских диалектах z в сочетании *zъ* подвергалось второй палатализации.

Чтобы картина не была односторонней, следует указать, что в берестяных грамотах все же иногда встречаются слова, где в корне представлен эффект второй палатализации, например, *църкъвь*, *цѣлюю тѧ* `приветствую тебя`. Понятно, однако, что подобно формулам *въ Бозѣ*, *Господи помози* эти слова и формулы пришли непосредственно из церковнославянского и не имеют отношения к фонетическим процессам в диалекте.

Вывод об отсутствии в древненовгородском диалекте эффекта второй палатализации имеет большое значение для истории не только самого этого диалекта, но и древнерусского языка в целом и даже всей славянской языковой семьи.

Прежде всего существенно то, что данная особенность отличает древненовгородский диалект не только от всех остальных восточнославянских, но и вообще от всех прочих языков и диалектов славянского мира. Коль скоро имеется славянский диалект, а именно древненовгородский, в котором вторая палатализация не осуществилась, значит, традиционное положение о том, что этот процесс произошел уже в праславянском языке, т. е. в эпоху полного языкового единства всех славян, неверно. Очевидно, дальние предки новгородцев каким-то образом отделились от остальных славян раньше, чем произошла вторая палатализация. Когда этот процесс происходил, они уже были в изоляции и он на них не распространился.

Далее, это означает, что неверно традиционное положение о том, что в течение определенного времени существовал совершенно монолитный правосточнославянский язык, внутри которого диалектные различия стали появляться лишь позднее, по мере расселения восточных славян по обширной территории. Если иметь в виду эпоху, предшествующую второй палатализации, то это был еще не правосточнославянский язык, а просто праславянский. Если же иметь в виду более позднюю эпоху, то полного единства восточнославянских диалектов уже не было: древненовгородский диалект отличался от прочих восточнославянских по крайней мере тем, что в нем не осуществилась вторая палатализация.

Наряду с отсутствием второй палатализации, в древненовгородском диалекте, по показаниям берестяных грамот, был выявлен и ряд других важных особенностей, причем таких, которые наблюдаются с самого начала письменной эпохи, т. е. с XI–XII вв. Некоторые из них

были раньше вообще неизвестны, другие были, в принципе, известны, но расценивались как явления относительно позднего происхождения.

Выше при разборе грамот мы уже несколько раз сталкивались с необычным древненовгородским окончанием формы именительного падежа единств. числа муж. рода: *-е*. Например, в грамоте № 663 Милко, Унег, Невид названы *Милоке*, *Унеге*, *Невиде*, в грамоте № 247 слово `замок` выглядит как *замьке*, слово `цел` – как *кѣле*. И таких примеров можно выписать из берестяных грамот великое множество: *хлѣбе* `хлеб`, *brate* `брат`, *дешеве* `дешев`, *меретве* `мертв`, *саме* `сам`, глагольные формы *дале* `дал`, *приходиле* `приходил`, *пришле* `пришел` и т. п.

О диалектных формах с окончанием *-е* было известно и раньше, поскольку они изредка проскальзывают в новгородских рукописных книгах и официальных актах. Предполагалось, однако, что они возникли не ранее конца XII в. и получили некоторое распространение в XIV–XV вв., но при этом всегда выступали лишь в качестве редкого параллельного варианта к нормальному окончанию *-ѣ*. Действительно, источники, которыми располагали лингвисты до открытия берестяных грамот, давали основания так думать.

Берестяные грамоты показали, насколько успешно писцы Древней Руси умели скрывать свой родной диалект, когда они писали тексты книжного или официального характера. Открылась совершенно другая картина. Во-первых, формы с *-е* встречаются не с конца XII в., а с самого начала письменной эпохи: они есть уже в самых древних берестяных грамотах, в частности в разобранный выше древнейшей грамоте № 247. Это значит, что они возникли еще в дописьменную эпоху. Во-вторых, окончание *-е* вовсе не было редким параллельным вариантом к «нормальному» *-ѣ*. В XI–XII вв. в живой речи новгородцев оно, безусловно, господствовало, а может быть, было даже единственным. Редкие примеры окончания *-ѣ*, встречающиеся в берестяных грамотах этого периода, могут быть объяснены как попытки писать «по книжному». В-третьих, характер исторического развития окончания *-е* в письменную эпоху оказался практически противоположным тому, что предполагалось раньше. Степень его распространенности в берестяных грамотах от века к веку не растет, а, напротив, понемногу падает. В XI–XII вв. это окончание, как уже указано, полностью господствует над «стандартным» окончанием *-ѣ*; в XV в. соотношение между этими двумя окончаниями приближается к равновесию (хотя *-е* все еще преобладает). Заметим, что эта тенденция, несомненно, продолжала действовать и позже, поскольку в наше время от древненовгородского

окончания *-e* уже почти не осталось следов. Разве что в некоторых псковских говорах еще можно услышать форму *псе* `пёс`, в онежских говорах – такие формы, как *воронкэ* `вороной конь`, *буркэ* `бурый конь`, *знеткэ* `домовой` (который «гнетет» человека), *пáвкэ* `паук`, да в былинах о новгородском герое Садко некоторые былинные сказители еще называют его по-древнему: *Садкэ*.

Окончание *-e* в именительном падеже единств. числа муж. рода – это еще одна особенность, помимо отсутствия второй палатализации, которая отличает древненовгородский диалект не только от других восточнославянских, но от всех вообще славянских языков и диалектов: во всем остальном славянском мире ему соответствует в древнюю эпоху окончание *-ъ* (например, *хлѣб-ъ*), а в новую эпоху – просто нуль (например, *хлеб*).

Происхождение древненовгородского окончания *-e* окружено ореолом загадочности. По этому поводу в разное время было предложено около десятка различных гипотез. Ныне по крайней мере те из них, которые исходили из позднего возникновения данного окончания, отпали. Но общепризнанного единого решения все еще нет; научная дискуссия продолжается. Ясно, однако, что мы имеем дело с явлением глубокой древности, которое уже в начальную эпоху существования Киевской Руси составляло важное различие между древненовгородским диалектом и южными диалектами восточнославянской зоны.

Из прочих древненовгородских диалектных особенностей бегло упомянем лишь немногие.

Слово `весь` сохранило здесь, в отличие от всего остального славянского мира, древнейший вид корня, а именно *въх-* (позднее превратившееся в *вх-*); например, `всѣ` было по-древненовгородски *въхо*, `всю` – *въху*. Как и в случае с окончанием *-e*, про существование форм типа *въху* (*вху*) было известно и раньше, поскольку один такой пример встретился в Варламовой грамоте и еще один – в летописи (где, между прочим, *х* подскоблено и переправлено на *с*: писец счел нужным исправить случайно проскользнувшую диалектную форму). Но никто не мог предположить того, что открылось из берестяных грамот: в XI–XII вв. в древненовгородском диалекте формы с *въх-* употреблялись не изредка, а полностью господствовали. С течением времени, однако, ситуация изменяется. В берестяных грамотах XIV–XV вв. с диалектными формами типа *вхо* уже успешно конкурируют общерусские формы с *вс-* (*весь*, *все* и т. д.). Процесс вытеснения диалектных форм, конечно, активно продолжался и позже: в современных говорах никаких следов древнего *въх-* (*вх-*) уже не осталось.

В нескольких грамматических формах, которые в обычном древнерусском языке имели окончание *-ы*, в древненовгородском диалекте употреблялось другое окончание: *-ѣ*. Так, например, в Новгороде говорили: *поль гривнѣ, у женѣ, отъ Кузьмѣ, отъ Нѣжатѣ, у Микулѣ; три кунѣ, четыре гривнѣ, кобылѣ* `кобылы` (множ.), *кѣлѣ* `цели`; *про хоромѣ* `про хоромы` и т. п.

В настоящем времени глагола формы 3-го лица в обычном древнерусском языке оканчиваются на *-ть*: *живеть, дѣеть, молотить, бьють, приходѣть* и т. д. В древненовгородском диалекте это *-ть* в большей части случаев отсутствует: *живе, дѣе, молоти, бью, приходѣ*.

В повелительном наклонении у глаголов I спряжения с твердой основой (*несу, беру, иду* и т. п.) формы 2-го лица множественного и двойственного числа в обычном древнерусском языке оканчиваются на *-ѣте* (множ.), *-ѣта* (двойств.): *несѣте, несѣта, берѣте, берѣта, идѣте, идѣта* и т. д. В древненовгородском диалекте они оканчиваются на *-ите, -ита*: *несите, несита, берите, берита, идите, идита*.

У тех же глаголов деепричастия оканчиваются в обычном древнерусском языке на *-а*: *неса* `нося`, *ида* `идя`, *възѣма* `взяв`, *река* `сказав`, *мога* (от *мочи*). В древненовгородском диалекте им соответствуют формы на *-ѣ* (т. е. со смягчением основы): *несѣ, идѣ, възѣмѣ, рекѣ, могѣ*.

Изучая характерные черты древненовгородского диалекта, открывшиеся нам благодаря берестяным грамотам, мы обнаруживаем несколько неожиданную закономерность. Оказывается, что эти черты ярче всего проявляются в берестяных грамотах XI–XII вв., а в последующие века несколько ослабевают, понемногу уступая место соответствующим общерусским чертам. Мы уже рассказывали о том, что формы типа *хлѣбе, саме, дале* со временем редекот, частично уступая место «стандартным» формам *хлѣбѣ, самѣ, даль*, и что наряду с *вхо, вху* и т. д. начинают употребляться «стандартные» *все, всю*. Подобным образом обстоит дело и с большинством других характерных диалектных черт. Например, в родительном падеже единств. числа существительных на *-а* формы с окончанием *-ы* типа *отъ Вавулы, с Василевы рыбы* в XV в. встречаются уже примерно в 30 % случаев, тогда как в XI–XII вв. их еще почти нет (а именно господствует диалектное окончание *-ѣ*).

Неожиданность здесь в том, что эти факты резко противоречат традиционной схеме, согласно которой первоначально совершенно единый древнерусский язык в дальнейшем распадается на диалекты, различия между которыми с течением времени возрастают. Древненовгородский диалект, наблюдаемый на протяжении XI–XV вв. по показаниям

берестяных грамот, развивается явно не так. В начале письменной эпохи мы застаем его уже в виде отчетливо самостоятельного диалекта, отличающегося от обычного древнерусского языка значительным числом особенностей. В берестяных грамотах этого периода господствуют специфические древненовгородские формы. Между тем в грамотах XIV–XV вв. представлен уже менее чистый диалектный тип; заметное распространение получают черты, свойственные, в частности, центральному и восточному русским говорам. Таким образом, в XI–XV вв. древненовгородский диалект и диалект ростово-суздальской (позднее – московской) зоны проходят, по крайней мере в своих наиболее существенных чертах, процесс сближения, а не расхождения.

Из русской диалектологии хорошо известно, что центральные говоры великорусской территории, легшие в основу русского литературного языка, имеют во многом компромиссный характер. Так, например, на севере окают, на юге акают, на севере произносят взрывное *з* (т. е. звонкое соответствие к *к*), на юге – фрикативное *з* (т. е. звонкое соответствие к *х*). Русский литературный язык отражает здесь явный компромисс: он характеризуется аканьем (как на юге) и взрывным *з* (как на севере).

Новые сведения о древненовгородском диалекте, основанные главным образом на берестяных грамотах, позволили расширить и уточнить наши представления об историческом взаимодействии разных диалектов великорусской территории, приведшем к формированию современного русского языка. Мы уже говорили о постепенном проникновении в язык новгородских берестяных грамот некоторых черт восточнорусского типа. Но определенное влияние осуществлялось также и в противоположном направлении.

В отличие от новгородской зоны, в восточной и южной части будущей великорусской территории располагались говоры с нормальным эффектом второй палатализации: *цѣлыи, сѣрыи, на руцѣ, на нозѣ, на сосѣ* и т. д. Как мы уже знаем, в древненовгородском диалекте эти формы выглядели как *кѣлыи, хѣрыи, на рукѣ, на нозѣ, на сохѣ*. Современный русский язык обнаруживает здесь компромисс: *целый, серый* (как на востоке и юге), но *на руке, на ноге, на сохе* (как в Новгороде).

Здесь можно, конечно, возразить: формы *на руке, на ноге, на сохе* могли и самостоятельно развиться на востоке и юге в силу аналогического выравнивания, о котором говорилось выше. В принципе, это верно, но в аналогическом выравнивании нет обязательности: в одних языках оно происходит, в других нет, и лингвистика, к сожалению,

пока еще не выявила всех возможных причин этого различия. Как раз в этом отношении ситуация, возникшая в восточнославянской зоне, выглядела чрезвычайно загадочно: из трех близкородственных языков, начальная точка развития которых была, как предполагалось, совершенно одинаковой, русский язык последовательно осуществил аналогическое выравнивание (т. е. устранил эффект второй палатализации на стыке основы и окончания), тогда как два других – украинский и белорусский – полностью сохранили старую систему чередований. До открытия особенностей древненовгородского диалекта никакого сколько-нибудь убедительного объяснения для этого различия не существовало. Ныне же объяснение представляется очевидным: из двух главных компонентов будущего великорусского языка – северо-западного (новгородского) и юго-восточного – один вообще никогда не имел чередований в склонении. Это обстоятельство и стимулировало процесс устранения чередований в остальных великорусских говорах (подчеркнем, что речь шла именно о стимулировании процесса аналогического выравнивания, а не просто о заимствовании новгородских форм: в противном случае были бы заимствованы также и *кѣлыи*, *хѣрыи*).

Новгородским «вкладом» в формирование единого русского языка можно считать также формы повелительного наклонения типа *несите*, *берите*, формы деепричастий типа *неся*, *идя* и некоторые другие.

Таким образом, современная литературная русская речь сохраняет в себе ряд важных черт, которыми мы обязаны древним новгородцам. И узнать об этом нам позволили именно берестяные грамоты.

Уже сейчас берестяные грамоты очень заметно расширили наши знания о языке Древней Руси и об истории русского языка в целом. Но ведь в наших руках пока еще только малая частица того, что скрыто в земле Новгорода и других древнерусских городов. Раскопки продолжаются, и каждый год приносит новые грамоты, а вместе с ними – новые вопросы и новые поиски ответов, поправки к каким-то из прежних решений, подтверждение или опровержение гипотез, выдвинутых раньше, крупницы более точного знания языка наших предков. Этой увлекательной работы хватит еще надолго.